

К ДВУХСОТЛЕТИЮ ГОГОЛЯ

Эмиль Мишель ЧОРАН

ГОГОЛЬ

Шесть десятилетий прожив во Франции и полностью перейдя на французский язык, больше того, составив гордость этого языка и литературы, причем в самых французских жанрах – эссе и афористике, французской (как, впрочем, и любой иной) словесности Эмиль Мишель Чоран (1911-1995) однозначно предпочитал русскую. Родившийся в трансильванской глуши сын православного священника и подданный австро-венгерской короны, он вообще всю жизнь хотел быть *другим* и при этом чаще всего, опять-таки, русским. В русской прозе Чоран выделял для себя линию «перегоревших» романтиков, байронических героев от Печорина до Ставрогина, а чаще всего перечитывал и цитировал Лермонтова и Гоголя, Достоевского, Чехова и Блока. Гоголь – единственный из его любимцев, кому посвящено отдельное эссе, оно вошло, пожалуй, в лучшую, наиболее зрелую книгу писателя «Соблазн существования» (1956). Парадоксалист Чоран ищет в образе и наследии своего избранника именно противоречий и на нескольких страничках опрокидывает многие устоявшиеся стереотипы суждений о Гоголе, в частности, о смысле его самоубийственного шага – уничтожения второго тома «Мертвых душ».

Борис Дубин

Некоторые свидетельства – надо признать, редкие – представляют его святым; другие, более частые, – привидением. «Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, – писал Аксаков наутро после кончины Гоголя, – что я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произнести в себе этого чувства во всю последнюю ночь».

Мучимый холодом, который его никогда не покидает, он не перестает повторять: «Я зябну, я зябну». Он переезжает из страны в страну, советуется с врачами, перебирается из лечебницы в лечебницу – от внутреннего оледенения не избавляет никакой климат. О его любовных связях ничего не известно. Биографы открыто говорят об импотенции Гоголя. Такой дефект тем более отделяет от людей. В импотенте есть внутренняя сила, отличающая его от остальных, делающая недосягаемым и, как ни парадоксально, опасным: он внушает страх. Животное, порвавшее с животным началом, человек без потомства, жизнь, из которой ушел инстинкт. Импотент черпает силу в том, что утратил: он в первую очередь становится жертвой духа. Вы можете себе представить импотенцию крысы? Грызуны – отменные мастера размножаться. Иное дело – люди: чем они исключительнее, тем мощнее в них проявляется главный изъян, вырывающий их из родовой цепи. Им доступна любая деятельность, кроме той, что роднит нас с животными. Секс уравнивает всех, больше того – он лишает нас тайны... Именно он, как ничто другое из людских потребностей и начинаний, ставит нас на одну доску с ближними. Чем больше мы предаемся сексу, тем больше походим на прочих. Именно в занятиях, именуемых скотскими, обнаруживаются наши качества граждан: нет ничего более *общественного*, чем половой акт.

Воздержание, будь оно добровольным или принудительным, ставит индивида то ли ниже, то ли выше рода человеческого, делая из него помесь святого и слабоумного, которая притягивает и поражает других. Отсюда та двусмысленная ненависть, которую испытываешь к монаху, как, впрочем, к любому мужчине, отказавшемуся от женщин, отказавшемуся быть *как мы*. Ему никогда не простят его одиночества: оно унижает нас, поскольку отвратительно, оно бросает вызов. Удивительное превосходство ущербных! Гоголь однажды признался, что, поддайся он любви, она бы «тут же стерла его в порошок». Это переворачивающее и завораживающее нас признание напоминает «тайну» Кьеркегора, его «жало в плоть». Однако датский философ был натурой эротической: разрывы с невестами, неудачливость в любви мучила его всю жизнь и оставила след

даже на богословских сочинениях. Может быть, стоило бы сравнить Гоголя со Свифтом, еще одним «испеленным»? Но тогда мы упускаем из виду, что Свифту случалось если не любить самому, то, по крайней мере, делать других жертвами любви. Хотите определить Гоголя – представьте себе Свифта без Стеллы и Ванессы.

Существа, живущие перед нами в «Ревизоре» и «Мертвых душах», замечает биограф, – совершеннейшее «ничто». Но, оставаясь «ничем», они – «всё».

Им недостает «материальности», отсюда их всеобщность. Кто такие Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев, Манилов, герой «Шинели» или «Носа», если не мы сами, сведенные к нашей сути? «Никчемные душонки», – пишет Гоголь, однако они достигают известного величия, величия пустоты. Гоголь – Шекспир мелкотравчатости, Шекспир, не устающий наблюдать за нашими страстишками, пустяковыми наваждениями, будничными перипетиями. Никто глубже Гоголя не взгляделся в повседневность. Его герои до того реальны, что превращаются в несуществующих и становятся символами, в которых мы полностью узнаем себя. Они не унижены, они были низкими с самого начала. Тут нельзя не вспомнить «Бесов». Но если герои Достоевского стремятся выйти за любые пределы, то гоголевские персонажи съеживаются до отпущенных им границ; первые как бы отвечают на вызов того, что их превосходит, вторые послушны лишь своей бесконечной тривиальности.

В последние годы жизни Гоголя мучили сомнения: у него не выходило из головы, что он живописал одни пороки, пошлость, грязь. Должно быть, он мечтал надеть своих героев добродетелями, вырвать из ничтожества. В таком настроении был создан второй том «Мертвых душ»; к счастью, Гоголь бросил его в огонь. Гоголевских героев нельзя «спасти». Этот жест приписывают безумию, тогда как он порожден угрызениями его художнической совести: писатель победил пророка. Мы ценим в нем беспощадность, презрение к людям, образ проклятого мира – каково нам было бы видеть вместо этого назидательную карикатуру? Кто-то скажет о невосполнимой потере; скорее ее можно назвать целительной.

Перед концом жизни в Гоголя вселяется какая-то темная сила, с которой он не может справиться. Он впадает в летаргию, иногда она перемежается судорогами – судорогами призрака. Чувство юмора, которое помогало ему не подпускать «приступы тоски» слишком близко, улетучивается. Настают горестные дни. Его покидают друзья. Безрассудно опубликовав «Выбранные места», он, по его собственным словам, отвесил «оплеуху публике, оплеуху друзьям и оплеуху себе самому». Его отвергли и славянофилы, и западники. Его книга – прославление власти и крепостничества, реакционная галиматья. К несчастью, он еще связался с неким отцом Матвеем, человеком глухим к искусству, тупым, агрессивным, который стал ему исповедником и палачом. Его письма Гоголь носил на теле, читал и перечитывал – лечение глупостью и идиотизмом, рядом с которым паскалевский совет «не умствовать» – невинная шутка. Когда художнический дар Гоголя иссякает, его праздным воображением завладевают бредни духовника. Воздействие отца Матвея оказалось сильнее пушкинского: Пушкин поощрял гений писателя, отец Матвей постарался заглушить его последние вспышки... Не удовлетворившись проповедью, Гоголь хотел еще и наказать себя: его искусство придавало потехе, гримасе всемирный смысл – теперь это должно было отозваться религиозными муками.

Кто-то скажет, что его страдания были заслужены, что ими он искупил свою дерзкую попытку исказить образ человека. По-моему, скорее наоборот: ему пришлось заплатить за то, что он разглядел правду, ведь в искусстве искупают не ошибки, а «удачи», то, что увидели вдруг в полную силу. Гоголя преследовали его герои, все эти Хлестаковы, Чичиковы, которых он, по собственному признанию, всегда носил в себе: эти недочеловеки его раздавили. Он не спас никого из них – он не мог это сделать как художник. Потеряв дар, он захотел спастись сам. Герои ему этого не позволили. Так он был вынужден, вопреки себе, сохранить верность их ничтожеству.

Тут думаешь не о герцоге Орлеанском (про которого Сен-Симон сказал, что он «уже родился скачущим»), не о Бодлере или Экклезиасте, даже не о чувстве никчемности дьявола, окажись он в мире, где не существует зла, – а о человеке, чьи мольбы обернулись против него самого. Скука у Гоголя обретает достоинство мистики. «Любое абсолютное чувство религиозно», – писал Новалис. С годами скука заменила Гоголю веру и стала его абсолютным чувством, его религией.

Перевод с французского Бориса Дубина